

Евгений Замятин

Алатырь



*Часть сборника
Мы. Рассказы*



Евгений Замятин

Алатырь

«Public Domain»

1914

Замятин Е. И.

Алатырь / Е. И. Замятин — «Public Domain», 1914

«...Так бы и впредь под благословением Божиим городу жить, да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал: через год – была чтоб тыща младенцев, и больше никаких. Потому – война. ...»

Содержание

1. От грибов принаследно	5
2. Кошка Милка исправническая	8
3. Князь	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Евгений Замятин

Алатырь

1. От грибов принаследно

На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом алатыря-камня, – тут нынче город осел.

И у жителей тех, видимо дело – от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ – по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке.

Так бы и впредь под благословением божием городу жить, да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал: через год – была чтоб тыща младенцев, и больше никаких. Потому – война.

Алатырцы не выдали: поставили тыщу, да с гаком еще. А начальник-то – возьми да и похвали:

– Богатыри! Исполать, мол, вам.

Ну, сглазу, конечно, и съел. Перестали в Алатыре мужние жены детей приносить. А еще того хуже: как вот рыба в реке переводится – так перевелись в Алатыре все женихи. И пошло, и пошло неплодие.

Срам обуял неслыханный: вековуши – в Алатыре, а? Сроду того не бывало. И не то чтобы как, а и в самых первых домах: у протопопа соборного – раз, у Родивона Родивоныча у инспектора – два, у исправника... Уж на что исправник сам, и у него на руках – Глафира.

А ведь только поглядеть на Глафиру: ростом высошенька, волос русский, глаз сверкучий, вся наливная – как спелая рожь. На рояле Глафира может: «Касту Диву», «Дунайские волны». И такая, поди ж ты, немужней осталась, не нынче завтра начнет осыпаться.

Целый день в исправницком доме кукушкой кукует гулко тоска. А чуть засинеет вечер – Глафира к окну: напротив, через дорогу, номера для приезжающих купца Агаркова – не загорится ли там огонек?

Будто загорелся. Горбоносый, сел кто-то к столу писать. Завтра утром, чуть свет, к Глафире в окошко стучит половой из номеров: «От барина – вам письмо...»

И жарко живет Глафира всю ночь. Утром – нету письма. Ну, что ж, стало быть, завтра принесут.

Долго ли, коротко ли, но только в одно воскресное утро – из номеров половой и впрямь заявился с письмом. Запершись в светелке своей, разорвала Глафира конверт.

– «Милостивая государыня. Зная вашу красоту и любезность, осмелюсь предложить вам...»

Руки затряслись, буквы запрыгали от радости.

– «...наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые личные утиральники...»

В тот день Глафира к обеду вниз не сошла: заперлась в своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой устала – и битый час, как пришитая, глядела в клетку с кенарем и кенаркой (выписал ей исправник из Москвы специально). Глядела-глядела, да как схватит клетку-то эту, да об пол ка-ак шваркнет: от кенаря с кенаркой только мокро осталось. А уж когда ей исправник слово сказал, что, мол, этак нельзя с подарками, она так раскричалась, растопалась – еле исправник ноги унес.

Исправник с исправничихой держали совет: что такое с Глафирой? С чего девка сбесилась?

– Эка штука, пудры ей предложили. Разве это инцидент? – удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал, все подтягивал: это всегда было у исправника знаком душевного волнения.

А брюки носил исправник на вате стеганные: простудлив был очень, сложения слабого – замухрыш, одно слово. Зато уж исправничиха – женщина росту серьезного, бурудастая, грудастая, а глас у ней – трубный. Как крикнет на мужа, трубным-то голосом:

– Да ты что там мямлишь? Инцидент, инцидент... Какой ты есть градоначальник, ежели, как дочь свою пристроить, не изобретешь?

Подумал-подумал Иван Макарыч – и, видно, придумал что-то: наверх, на исправничиху, поглядел этак гордо:

– Я-то? Не изобрету? Очень даже просто: надо Глафирочку на службу определить. С ритуальной, так сказать, целью. Поняла?

Почесала исправничиха в голове спицей:

– А и верно, глядишь. Ума ты палата, Иван Макарыч.

Сказано – сделано. Ходит Глафира на телеграф, год и другой. А к ритуальной цели – ни на шаг. Хоть бы так, для виду, кто приволокнулся: никого.

Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все – и в кабинет заперся. Уж если по правде – так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все великие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей замены дров в безлесных местах; тайна приготавливать не уступающий настоящему искусственный мрамор; особый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И наконец, это многообещающее открытие последних дней: секрет печь хлеба не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлеба будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет – и взялся за дело.

Иван Макарыч так полагал: делать – так уж делать на широкую руку, а не то чтобы там. Задешево, по случаю, приобрел восемнадцать пудов муки. А там – пекаря свои, даровые: арестанты из острога. Голубиный – не покупать этот самый...

– Пеки, ребята, сыпь в мою голову!

Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали. Сперва в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль. А кругом калачей Иван Макарыч гоголем ходит.

В ту пору исправница на богомолье была, у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидела да как взвесься трубным-то гласом:

– Да господи-батюшко! Придумал ведь тоже: на голубином! Весь дом напоганил теперь...

– Да ты – на, отведай сперва, а потом толкуй.

– Чтобы я – да этакую погань? Да избави меня Бог, я еще в своем уме. И завтра же чтоб было чисто, хоть за окно. А то... знаешь?

Знал Иван Макарыч. Загорюнился, жалко нещечко-то свое кидать вон. Эх, как бы это... Подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой.

– Бб-а! А Потифориха-то? А ну, Кошкарев, доставь.

Торговала на базаре Потифорна, Псалтырь читала, всякую боль заговаривала: от грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу, от всего облегчить могла на все руки. На отшибе, в завалищем проулке, разыскали Потифорну и мигом представили перед исправником. Отмахнула Потифорна поясной поклон: зачем, мол, понадобилась?

– Да что, Потифорна, с докукой к тебе. Калачи вот видишь? Возьмись-ка на базаре продай, а уж я...

– И-и, отец, нам ли не служить? Только молви.

Петр-Павел рябинник минул, пошли уж студёные утренники. Взяла с собой на базар Потифорна с угольем тёплый горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом.

– Э-эх, калачи хороши – для спасения души, по-осеньские!

Рядом слепец, с деревянной баклушей, свою присказку ведёт:

– Пр-равославные христианушки, от роду-рода-родов, от веку-века-веков, солнца краснаго...

А зипун – чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком, кто с поросенком – дешёвый калач закупать.

Через три пятницы пришла Потифорна к исправнику – так, мол, и так, расторговалась вашей милости калачами, ни одного не осталось.

Иван Макарыч уж вот как доволен: не для-ради денег, а для-ради чести своей пред исправничихой.

– Ну, Потифорна, проси чего хочешь, так ты меня ублажила.

– Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Костюньку мово в люди бы вывести? В чиновники то есть. Хороший он малый, да только вот...

– Что – только?

– К сочинениям пристрастен. Сочинения, батюшка, все сочиняет, и день – и ночь, и сидит – и сидит, уж такое мне горе. Да вот глянь-ка, милостивец.

Покопалась за пазухой, вытащила Потифорна прошение, сочинённое Костюней на случай неизвестного благодетеля.

– Мм... да, скорпись хорошая, – поглядел исправник.

«Прощение. Я обладаю естественной любознательностью ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя к литературной службе. И просьба к помощи, ввиду неимения аванса, прямо посещать училищную скамью.

Моя краткая биография из жизни: я воспитан в кругу нежных забот единственной матери, но не могу отплатить ей тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно.

Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Константин Едыткин».

Походил исправник, подумал. Прощение – ничего, забористое, надо бы малого устроить, как-нибудь надо бы...

– Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста приготовим, а? Глафира моя – она ведь по этой части.

– На телеграфиста? На чиновника? – затряслась Потифорна.

– Ну да, на чино...

И кончить исправник слова не успел, как Потифорна в ноги – кувырк. Только и видать: пучок седых волос на затылке да куча старушечьего темного платья. Искусница Потифорна – поклоны бить.

2. Кошка Милка исправницкая

Поутру на Покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатухе на антресолях, лежала – и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов.

Так это пронзило Глафиру, так затомилась, вся нецелованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть на стену лезь. А стены – гладкие, нет ни сучка, ухватиться не за что.

И вдруг нашла, ухватилась: вспомнила – толковал вчера исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот самый... Загорелось – сейчас же, сию же минуту туда поехать.

Для праздника, для Покрова, последний раз грело солнце. В завалищем проулке мирно купались куры в кучах назолу. Потифорна пред окошком читала акафист Пресвятой Богородице.

И вот – неслыханное дело – загремел тарантас в проулке. Ахнули куры, брызнули из-под копыт, акафист полетел на пол со страху.

«Батюшки, барышня исправникова! А дом не прибрat, а Коська – обормот чистый...»

Кинулась Потифорна к Косте с новым пинжаком:

– Да руки-то, оголть, тьфу... Руки-то суй скорей!

И обернувшись к двери – соловьем тотчас же:

– Ма-атушка-барышня! Радость-то нам какая нынче для Покрова... Костюня, да кланяйся же!

Длинный, как скворечня, Костя нескладно поклонился, на жалостно-тонкой шее болтнулась большая голова. Был он похож на только что вынутого из яйца цыпленка: такие же бывают они длинношее, все к костям прилипло, и качаются.

«Нет, не он... – в тоске еще пуще заматалась Глафира около гладких стен. Мелькало в глазах засиженное мухами, как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко.

Потифорна совала Глафире в руки какую-то баночку.

– Кофий это, барышня, кофий. Вот сейчас заварю. Пять лет берегла для гостя дорогого, вот погляди-ка сама, какой кофий-то... В Воронеже покупала, где Митрофаний-угодник.

Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похожий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими глазами читала Глафира надпись. И раз, и другой, и еще прочитала вслух:

– «Сей кофий, по приятности, подобен ливанскому. Но может быть употребляем, как настоящий».

И так это Глафире показалось нестерпимо, жгуче смешно, что закатилась – засмеялась – заихала – полились слезы, и сквозь слезы кричала:

– Кофий, л-ле... лев... Кошка Милка... Милка, Милка моя!

Потифорна тряслась, разливала воду из стакана Глафире на колени. А Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не чуял, что выкатилась слезинка, повисла светлой каплей на кончике носа. Отдал – все бы отдал теперь – только бы она *перестала надрываться*, только бы унять ее слезы...

В своем сундучке, под замком, уж два года Костя целомудренно берег тетрадку: ни один живой глаз ее не видал. Была тетрадка озаглавлена: «Сочинения Константина Едыткина, то есть Мои».

И теперь пришел час: без малейших колебаний – так было надо – Костя пошел, вынул тетрадку и положил на колени Глафире... Только бы перестала, только бы утешилась!

И правда: увидела Глафира заглавие – улыбнулась.

Заниматься к барышне исправниковой Костя ходил по вечерам – с шести. У Потифорны часы – Бог их знает: с той поры как для лучшего ходу был привязан к гире старый утюг – что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до срока забирался задолго.

– Барышня кушают чай, погоди мало-мале.

В темной прихожей садился Костя на стул. Шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар. Темным слоном влезала в прихожую исправничиха. Шарилла шубейку на стене – в сени надо выйти, – во тьме натыкалась на Костю.

– Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! Да это ты! Ух, провались ты совсем... Ну иди уж, иди, Фирочка чай отпила.

Костя светлел и лез наверх, в Глафирину светелку.

– Ну? – говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом, к Косте спиной.

Недавно Глафира открыла: стала у ней борода расти, может, только ей одной и заметные золотые волоски. Плохой это знак: немножко еще, может, год, может, месяц – и начнут вянуть груди, вся начнет осыпаться и никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка.

С сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Костя тачал – от сих и до сих. Все уроки он знал назубок, зубрил день и ночь – только чтоб она кивнула головой: хорошо, мол.

И все ж один раз было: Костя не мог ответить урока, стоял, как немырь, с покорной улыбкой. В тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу: венком на голове – круг русой косы. Держала шпильки в зубах – с сердцем проговорила сквозь шпильки:

– Вше равно, шкажите, пушть идет, отвечает. А то некогда будет.

Костя вошел – и свету невзвидел. Зажмурил глаза и тотчас же не стерпел – открыл. Опять: кружева и розово-нежное что-то, такое, что... Сердце заязбло у Кости, заныло, забыл все слова.

– Некогда тут, а он как... – оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и – рассмеялась. Поняла.

– Подержите мне, Костя, зеркало. Так. А теперь вот сюда. Так. Ну, спасибо, довольно. Довольно же, ну?

Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же, его покорной от века, улыбкой.

Назначили Косте экзамен на ране Успенья. Жарынь стояла. Мух развелось – невесть сколько. Старушку одну – не владела она руками – так изжиляли, что ума решилась старушка.

Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся – как вот, бывает, иссидится наседка: выйдет из лукошка – и шагу ступить не может. Веснушками Костя зацвел, голова стала еще больше, обрезался озябший носик.

– Что, молодой человек, похудал? Какая такая заела болезнь? – увидал как-то Костю исправник.

– Эк-замен, – покорно улыбнулся Костя.

– Э-э, вот оно что! Ну не робей: я сам с почтмейстером потолкую...

Поехал Иван Макарыч к почтмейстеру. Почтмейстер – старикан трухлявый. К новому году выходит в отставку. Из носу сыплет табак – на бумаги, на письма; все уж кличет уменьшительно: очочки, телеграммочки, книжечка разносенькая. Такого Ивану Макарычу улестить – велико ли дело? И улестил.

Скор и милостив был Косте экзамен. И часу не прошло – вышел Костя светел, что новенький месяц. Вернулся домой – в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке.

Увидала Потифорна чиновником Костю – в голос как взвоят да в землю – кувыр:

– Сергей Радонеж... угодники вы мои-и! Да разразите же вы меня-а! Чем я вам теперь отплачу-то за Коську?

3. Князь

Бывает, что хозяйка слишком любезная – в стакан чаю набутит сахару кусков этак пять: инда поперхнешься от сладости. Так вот и дворянин Иван Павлыч: лицо имел приятное, очень приятное, приятности – все пять кусков. Ходил Иван Павлыч в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких, при часах французского золота с толстой цепочкой. И как Иван Павлыч первым всегда все знал, то принимали его алаторцы именитые очень охотно: тем и кормился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.